

Иван БУНИН

РУСЯ

Рассказ

В одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва – Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поезде к опущенному окну вагона первого класса подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарём в висящей руке, и дама спросила:

– Послушайте, почему мы стоим?

Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.

На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, всё ещё мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

– Однажды я жил в этой местности на каникулах, – сказал он. – Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный, – хозяйева были люди обедневшие, – за домом некоторое подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега.

– И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту.

– Да, всё как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я её всё больше по ночам, и выходило даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там, на горизонте, вот как сейчас, всё что-то тлеет и тлеет... Весло нашлось только одно и то вроде лопаты, и я грёб им, как дикарь, то направо, то налево. На противоположном берегу

было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвет. И везде невообразимая тишина – только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам. Оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно.

Зашумел наконец встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещённых окон, и пронёсся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошёл в купе, осветил его и стал готовить постели.

– Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была?

– Худая, высокая. Носила жёлтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетённые из какой-то разноцветной шерсти.

– Тоже, значит, в русском стиле?

– Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная чёрная коса на спине, смуглое лицо с маленькими тёмными родинками, узкий правильный нос, чёрные глаза, чёрные брови... Волосы, сухие и жёсткие, слегка курчавились. Всё это, при жёлтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках – всё сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.

– Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.

– Возможно. Тем более что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде чёрной меланхолии. Выходила только к столу. Выидет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и всё перекалывает то нож, то вилку. Если же вдурог заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.

– А отец?

– Тоже молчаливый и сухой, высокий; отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, которого я репетировал.

Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

– А как её звали?

– Руся.

– Это что же за имя?

– Очень простое – Маруся.

– Ну и что же, ты был очень влюблён в неё?

– Конечно, казалось, что ужасно.

– А она?

Он помолчал и сухо ответил:

– Вероятно, и ей так казалось. Но пойдём спать. Я ужасно устал за день.

– Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чем и как ваш роман кончился.

– Да ничем. Уехал – и делу конец.

– Почему же ты не женился на ней?

– Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя.

– Нет, серьёзно?

– Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе, разделись и с дорожной отрадой легли под свежее глянце-витое полотно простынь и на такие же подушки, всё скользившие с приподнятого изголовья.

Сине-лиловый глазок над дверью тихо глядел в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето...

На теле у неё тоже было много маленьких тёмных родинок – эта особенность была прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, всё тело её волновалось под жёлтым сарафаном. Сарафан был широкий, лёгкий, и в нём так свободно было её долгому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и целовать её мокрые узкие ступни – подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел всё быстрее и гуще за открытыми на балкон дверями, в потемневшем доме все спали после обеда – и как страшно испугал его и её какой-то чёрный с металлически-зелёным отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с дивана, он, торопливо и согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она всё приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснела и отвечала насмешливым бормотанием; за столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу:

– Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и окрошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит.

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству – весь дом был на ней. Обедали в час, и после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под берёзой её мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на

балкон, где он после обеда сидел с книгой в комсом камышовом кресле, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопределённой усмешкой:

– Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать?

– Историю французской революции.

– Ах, бог мой! Я и не знала, что у нас в доме оказался революционер!

– А что ж вы свою живопись забросили?

– Вот-вот и совсем заброшу. Убедилась в своей бездарности.

– А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний.

– А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?

– Вы страшно самолюбивы.

– Есть тот грех...

Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг решительно сказала:

– Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей все дыры заби-ли кугой...

День был жаркий, парило, прибрежные травы, испещрённые жёлтыми цветочками куриной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, и над ними низко вились несметные бледно-зелёные мотыльки.

Он усвоил себе её постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал:

– Наконец-то вы снизили до меня!

– Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне! – бойко ответила она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек, со всех сторон зашлёпавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топая ногами:

– Уж! Уж!

Он мельком увидел блестящую смуглость её голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, далеко отбросил в воду.

Она была бледна какой-то индусской бледностью, родинки на её лице стали темней, чернота волос и глаз как будто ещё чернее. Она об-легчённо передохнула:

– Ох, какая гадость. Недаром слово «ужас» происходит от «ужа». Они у нас тут повсюду: и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берёт их в руки!

Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза прямо.

– Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!

Она совсем пришла в себя, улыбнулась и, перебрав с носа на корму, весело села. В своём испуге она поразила его красотой, сейчас он с нежностью подумал: «Да, она совсем ещё девочка!» Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку и, упирая веслом в студенистое дно, повернул её вперёд носом, потянул по спутанной гуще подводных трав на зелёные щётки куги и цветущие кувшинки, всё впереди покрывавшие сплошным слоем своей толстой круглой листвы, вывел её на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево.

– Правда хорошо? – крикнула она.

– Очень! – ответил он, снимая картуз, и обернулся к ней: – Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, всё-таки протекает и полно пьявок.

Она положила картуз к себе на колени.

– Да не беспокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

– Нет, я его буду беречь!

У него опять нежно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестящую среди куги и кувшинок воду.

К лицу и рукам липли комары, кругом всё слепило тёплым серебром: парной воздух, зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок; везде было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отражённое небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула – и лодка повалилась на бок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе, что завалилась вместе с лодкой. Он едва успел вскочить и поймать её под мышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил её и, не понимая, что делает, поцеловал в хохочущие губы. Она быстро обняла его за шею и неловко поцеловала в щёку...

С тех пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его после обеда в сад и спросила:

– Ты меня любишь?

Он горячо ответил, помня вчерашние поцелуи в лодке:

– С первого дня нашей встречи!

– И я, – сказала она. – Нет, сначала ненавидела – мне казалось, что ты совсем не замечаешь меня. Но, слава богу, всё это уже прошлое. Нынче вечером, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как мож-

но осторожно – мама за каждым шагом моим следит, ревнива до безумия.

Ночью она пришла на берег с пледом на руке. От радости он встретил её растерянно, только спросил:

– А плед зачем?

– Какой глупый. Нам же будет холодно. Ну, скорей садись и гребь к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу на той стороне, она сказала:

– Ну вот. Теперь иди ко мне. Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озябла, и садись. Вот так... Нет, погоди, вчера мы целовались как-то бестолково, теперь я сначала сама поцелую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... везде...

Под сарафаном у неё была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он, с помутившейся головой, кинул её на корму. Она исступлённо обняла его...

Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и ещё не утихшей боли сказала:

– Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживёт моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу испугаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала обвязывать голову косой, подняв руки, показывая тёмные мышки и поднявшиеся груди, не стыдясь своей наготы и тёмного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинула голову назад и шумно заколотила ногами.

Потом он, спеша, помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были видны её чёрные глаза и чёрные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться её, только целовал её руки и молчал от нестерпимого счастья. Всё казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча тлеющего кое-где светляками, – стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало.

Она поднимала голову:

– Постой, что это?

– Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег. Или ёж в лесу...

– А если козерог?

– Какой козерог?

– Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мне так хорошо, мне хочется болтать страшные глупости!

И он опять прижимал к губам её руки, иногда как что-то священное целовал холодную грудь.

Каким совсем новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкого леса зеленоватый полусвет, слабо отражавшийся в плоско белеющей воде вдали, резко, сельдереем, пахли росистые прибрежные растения, таинственно, просительно ныли невидимые комары – и летали, летали с тихим треском над лодкой и дальше, над этой по-ночному светящейся водой, страшные, бессонные стрекозы. И всё где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломлённый ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в старых номерах «Нивы».

– Ты меня ещё не разлюбила? – тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит.

– Глупый. Ужасно глупый! – шептала она.

Вдруг послышались мягко бегущие шаги – и на пороге встала в чёрном шёлковом истрёпанном халате и истёртых сафьяновых туфлях её полоумная мать. Чёрные глаза её трагически сверкали. Она вбежала, как на сцену, и крикнула:

– Я всё поняла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал воробьёв, заряжая его только порохом. Он, в дыму, бросился к ней, схватил её цепкую руку. Мать вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швырнула пистолетом в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на сизых губах ещё театральнее:

– Только через мой труп перешагнёт она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!

Она прошептала:

– Вы, вы, мама...

Он очнулся, открыл глаза – всё так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из чёрной темноты сине-лиловый глазок над дверью, и всё с той же неуклонно рвущейся вперёд быстротой нёсся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался тот печальный полустанок. И уж целых двадцать лет тому назад было всё это: перелески, сороки, болота, кувшинки, ужи, журавли... Да, ведь были ещё журавли – как же он забыл о них! Всё было странно в то удивительное лето, странна и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетавших от времени до времени на побережье болота, и то, что они только её одну

подпускали к себе и, выгибая тонкие, длинные шеи, с очень строгим, но благосклонным любопытством смотрели на неё сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним в своих разноцветных чуньках, вдруг садилась перед ними на корточки, распутивши на влажной и тёплой зелени побережья свой жёлтый сарафан, и с детским задором заглядывала в их прекрасные и грозные чёрные зрачки, узко схваченные кольцом тёмно-серого райка. Он смотрел на неё и на них издали, в бинокль, и чётко видел их маленькие блестящие головки, – даже их костяные ноздри, скважины крепких, больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузые туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным оперением, чешуйчатые трости ног не в меру длинны и тонки – у одного совсем чёрные, у другого зеленоватые. Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья; а не то важно прогуливались, выступали медленно, мерно, поднимали лапы, в комок сжимая три их пальца, а ставили разлато, раздвигая пальцы, как хищные когти, и всё время качали головками... Впрочем, когда она подбегала к ним, он уже ни о чём не думал и ничего не видел – видел только её распутившийся сарафан, смертной истомой содрогаясь при мысли о её смуглом теле под ним, о тёмных родинках на нём. А в тот последний их день, в то последнее их сидение рядом в гостиной на диване, над томом старой «Нивы», она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда, в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными чёрно-зеркальными глазами:

– А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона!

За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему:

– Что это ты столько пьёшь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Всё ещё грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?

– Грущу, грущу, – ответил он, неприятно усмехаясь. – Дачная девица... *Amata nobis quantum arnabitur nulla!*

– Это по-латыни? Что это значит?

– Этого тебе не нужно знать.

– Как ты груб, – сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно.

27 сентября 1940 года

* Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет! (лат.)